

ГЛАВА ИЗ РОМАНА «МАСАДА-XXI»

ГЛАВА ...

ПРЕМЬЕР

Тишина над Иерусалимом

Премьер-министр Давид Шайн стоял у узкого окна своего подземного кабинета, в тридцати метрах под землёй. Оно не выходило наружу — за ним был лишь экран, показывающий то, что осталось от города, от страны, от мира.

Крыша Кнессета, пробитая иранским дроном, зияла, как рана Иерусалима. Был рассвет или то, что от него осталось: мутное, стыдливое освещение, пробивающееся сквозь пепельную завесу дыма. На экране не было ни людей, ни звуков. Только трепет флага, застрявшего на обломке мачты, и пыль, пляшущая в луче камеры.

Тишина.

Но не спокойная, не мирная. Это была тяжёлая тишина, такая, которая появляется после крика, когда все слова сказаны, а решения уже приняты, но ещё не исполнены.

Он слышал своё дыхание. Сердце было как метроном перед бурей.

Давид Шайн был человеком без иллюзий. Он не верил в чудеса, не любил поэзию, и не считал себя частью истории.

Он был уставшим отцом, которого разбудили ночью: дом горит, дети в панике, но нужно сохранять лицо — хотя бы перед собой.

— Я разделил страну, — тихо сказал он сам себе. — Я думал, что это — выбор. А это был раскол.

Видимость власти была вокруг него: экраны, рации, голограммы. Но реальность была где-то наверху, между разбитыми балконами и очередями за водой.

Он сел. Словно сложился.

На столе — отчёты. От Когана, от военного штаба, от службы водных ресурсов. Но всё, что он видел — это лица. Лица людей, которых он больше не может защитить.

Он думал о прошлом не ностальгически, а с сожалением. В нём было столько ошибок, что он боялся — оно сейчас снова постучит.

— Если бы я знал... — начал он, но не договорил.

Он не знал. Никто не знал.

Он подошёл к шкафу, достал старую книгу. Её дал ему отец, когда тот ещё верил в страну, где всё можно исправить. На обложке были стёртые буквы: « — «נִצְחָה» «Плач Иеремии». Он провёл пальцем по строкам. Губы сами шептали:

«Все враги её стали главою; ибо Господь наслал на неё скорбь...».

И вдруг он понял: Иерусалим — не просто город, не просто столица. Он зеркало. Он отражает, в каком состоянии народ. И сейчас зеркало треснуло. А он не знает, как его склеить.

В этот момент дверь скрипнула:

— Премьер, — сказал голос за спиной. — Вас ждут. Планы готовы. Коган подключился к «Авелю».

— Хорошо, — выдохнул он. — Я иду. Только... дай мне ещё минуту.

Он остался один. Остался с тишиной, которая звучала громче любой сирены.

Он посмотрел вверх и прошептал:

— Господи, если Ты ещё слушаешь... не молчи.

Голос в пустоте

Совещание началось без привычной суеты. Не было ни шороха бумаг, ни щелчков планшетов, ни глухих переглядываний. Словно все сидели не в командном центре ядерной державы, а в зале прощания. Каждый — с лицом, ставшим маской. Каждый — с голосом, затонувшим в себе.

Премьер прошёл внутрь и не сел. Он стоял. Так стояли раньше, когда черпали мудрость из книги, а не из отчёта.

Глава «Моссада», Лави Коган, сидел, сцепив руки перед собой. Глава ШАБАКа держал в ладони бумажный стаканчик с кофе. Кофе был давно холодным, но он держал его, как будто не мог отпустить — как последнюю мысль, которая греет.

— Египет предложил нам капитуляцию, — сказал министр иностранных дел. — Под гарантии эвакуации евреев в Европу.

Над столом повисло короткое эхо, как будто в комнате стало холоднее. После — голос. Сухой. Хриплый. Чужой.

— Европа... — пробормотал кто-то. — Европа не может эвакуировать сама себя, там уже ислам проник слишком глубоко, чтобы они помогали нам.

Давид Шайн молчал. Он уже слышал всё это.

— Может быть, стоит всё-таки... — вновь подал голос министр иностранных дел, не глядя прямо, словно в просьбе была вина, — ...начать переговоры с Тегераном? Через Пекин.

Несколько голов обернулись. Несколько — опустились.

Шайн поднял взгляд.

— Переговоры с теми, кто требует нашей полной демилитаризации, вывода населения из Негева и передачи Иерусалима под международный контроль?

Он не повысил голос. Но каждое слово падало, как камень в воду.

Наступила пауза. Настоящая. Почти священная. Пауза, когда люди боятся шевельнуться, чтобы случайно не стать первым, кто скажет «да».

Он подошёл к столу. Положил ладонь на его гладкую поверхность.

— Мы дошли до Масады.

Все взгляды поднялись.

— И у нас два пути. Либо повторить её, умереть стоя. Либо разрушить миф. Пережить осаду. Не победить, нет. Просто пережить, но не ценой капитуляции.

Один из генералов, человек с лицом, как из гранита, не сдержался:

— А как? Как вы предлагаете выжить, когда нас сжимают со всех сторон, а внутри нет ни согласия, ни ресурсов?

Премьер повернулся к нему.

— Тогда мы зададим себе единственный вопрос: ради чего выживать? Я считаю, что ради самой жизни, ради будущего нашего и наших детей, внуков. И не как жертвы, а как народ, который не исчезает. Ни в пламени, ни в песке, ни в забвении.

Снова повисла тишина, но теперь другая. Тишина понимания.

— Начинаем операцию «Эйха», — сказал Шайн. — Код доступа получит тот, кого это касается. Мы переходим к фазе изоляции. Страна — ковчег. Закрывать двери. Держаться. Верить.

Он развернулся к выходу. И добавил, уходя:

— Кто не верит — может идти. Лучше сейчас, чем во время штурма.

И шагнул в коридор. Впереди была пустота, которую надо заполнить мужеством. Сзади — тишина, в которой кто-то начал молиться.

Тени чемоданов

Давид Шайн стоял у большого стола своего кабинета, склонившись над картой, будто пытаюсь взглядом удержать разъезжающиеся фронты. На стенах были экраны со сводками, новые угрозы. Он не слышал, как дверь открылась. Лишь когда Коган подошёл ближе, он поднял голову.

— Ты выглядишь так, будто несёшь плохие новости, — сказал Шайн. — Очень плохие.

Коган не сел.

— Я не просто их несу. Я едва смог сам в это поверить.

Шайн нахмурился.

— Говори.

Коган выдохнул — коротко, жёстко.

— Несколько наших министров, военных и два директора критически важных ведомств... тайно собирают семьи.

— В смысле?

— В самом прямом. Чемоданы. Документы. Дублирующие паспорта. Они готовят выезд через Иорданию.

Шайн резко сел, будто подломились ноги.

— Ты хочешь сказать... что они бегут?

— Нет, — ответил Коган. — Хуже. Они думают, что бегут. На самом деле — они капитулируют.

Он положил на стол фотографии: размытые, ночные, снятые скрытой камерой. Министр, выходящий из банка с сумкой. Высокопоставленный чиновник, грузящий чемоданы в неприметный микроавтобус. Директор ведомства, пересекающий мост Алленби с взглядом в землю.

Шайн проглотил сухость во рту.

— Но они же... выступают. Они говорят о стойкости, о победе, о том, что «Израиль никогда не сдаётся».

Коган смотрел прямо.

— Они говорят это в камеру. А ночью пакут чемоданы.

— Это предательство, — выдохнул Шайн.

— Нет, — тихо возразил Коган. — Это страх, который стал сильнее долга и сильнее веры.

Он сделал паузу.

— Но именно этот страх и есть предательство. Не политическое. Внутреннее.

Шайн опустил голову.

— Почему? Почему они не верят?

Коган подошёл ближе.

— Потому что они слышат те же сводки и прогнозы, что и мы. Видят ту же изоляцию, что мы снова — одна крепость против континента. Потому что знают, что народ устал, экономика хрипит, союзники молчат. Потому что никто не верит в чудеса...

Шайн ударил ладонью по столу.

— То есть Масада уже не у ворот?

Коган кивнул.

— Масада уже в сердцах. И это страшнее.

Он сел напротив, впервые за разговор.

— Давид... они не трусы. Это самое болезненное. Это люди, которые воевали, теряли, отдавали годы службе. Но они смотрят на горизонт — и видят шторм. И делают вывод: Израиль не выдержит.

Шайн поднял глаза, полные усталости.

— И что ты хочешь, чтобы я с этим сделал? Я не могу их арестовать за мысли. Коган смотрел долго, потом тихо сказал:

— Ты должен понять: если люди, стоящие рядом с тобой на мостике корабля, ищут шлюпки — значит, они уже не с тобой. Они с морем.

Шайн сжал пальцами виски.

— Это конец? То, чего больше всего боялись? Внутренняя сдача?

Коган наклонился вперёд.

— Это не конец. Это сигнал. Что мы подошли к точке, где три человека, уезжающие через мост Алленби, опаснее батальона врага. Потому что враг бьёт снаружи, а они — изнутри.

Шайн молчал, будто не мог вдохнуть.

Коган продолжил:

— Израиль может пережить тысячи ракет. Он может пережить войну с Ираном, с «Хезболлой», в целом с «осью зла». В то же время он не переживёт ситуацию, когда те, кто должен держать линию в этом бою, уже психологически ушли. Это и есть начало Масады-2.

Он закрыл папку.

— Давид... у нас есть время. Немного, но есть.

— Чтобы что? — прошептал Шайн.

Коган ответил:

— Чтобы вернуть людям веру, что у Израиля есть будущее. Не только смерть. Не только осада. Если мы это сделаем, они останутся. Если нет, мы останемся здесь вдвоём. И крепость падёт не от осады, а от пустых комнат внутри.

Шайн опустил лицо в ладони.

Исход

Кабинет снова погрузился в тишину. Но это была другая тишина — тяжёлая, как камень на груди. Шайн нарушил молчание первым.

— Ты говорил... что есть и другая сторона. Что уходят не только министры. Люди... обычные. Семьи.

Коган обернулся.

— Давид, я докладывал тебе об этом не один раз и не два.

— Я помню, — тихо сказал премьер. — Я просто надеялся, что это временно.

Коган покачал головой.

— Это не временно. Это воронка.

Он вынул свежие сводки и положил на стол, будто доказательства преступления.

— Ты знаешь цифры. Обычно в год выезжали около шестидесяти тысяч человек, как разница между приезжающими и уезжающими.

Люди искали карьеру, спокойствие, иногда просто приключения.

Он подвинул к премьеру следующую страницу.

— После начался раскол, политический хаос. Многие начали собираться, но после 7 октября и ХАМАСа... поток превратился в реку.

Шайн опустил глаза.

Коган продолжил:

— А когда люди поняли, что стране в ближайшее время грозит изоляция и даже осада, то за каких-то шесть месяцев страну покинули сотни тысяч семей. Не одиночки — семьи. С детьми, с чемоданами, с материальными потерями, с разрывами корней.

Он показал на карту.

— Север пустеет. Центр — вымывается. В хай-теке дыры. В медицине — коллапс. Школы в богатых районах — наполовину пустые. Некоторые области стали такие же, как в 70-е, по количеству жителей.

Шайн смотрел в одну точку.

— Потому что люди боялись?

— Люди боялись из-за политики, — резко сказал Коган. — Потому что они увидели: страна идёт к блокаде. Потому что столкнулись с тем, что мы сами создавали десятилетиями — иллюзией, что можно ссориться со всем миром и остаться на плаву.

Он вынул из портфеля планшет и быстро открыл один файл.

— Вот. Цитата от человека, уезжающего с тремя детьми:

«Я люблю Израиль, но Израиль больше не любит меня. Он не видит меня. Он кричит лозунги, пока мои дети изучают план эвакуации в случае ракетного удара».

Шайн закрыл глаза.

Коган говорил дальше:

— Ты спрашивал, что привело к Масаде-2? Это — одна из причин. Не ракеты. Не Иран. Исход надежды. Когда люди уходят — это значит, что они не верят, что их страна выживет, они просто бояться за жизнь свою и своих детей. И самое страшное — это не вопрос армии. Это вопрос сознания.

Он наклонился вперёд.

— Давид... люди уезжали потому, что не верили не в Израиль — в тебя. Они видели, что каждое твоё решение отталкивает партнёров, что мы становимся островом в шторме. И они решили уйти раньше, чем границы закроют от того, что полетят ракеты.

Он замолчал. В кабинете было слышно, как тикают часы.

Давид Шайн заговорил медленно, словно каждое слово весило килограмм:

— Я... понимаю. Я вижу. Я виноват. Я думал, что удерживаю страну, а на самом деле — сжимал её так сильно, что она треснула в руках.

Он поднял глаза на Когана.

— Люди уходили... потому что я показывал им не путь, а тупик.

Коган тихо ответил:

— Они уходили, потому что перестали чувствовать, что Израиль — это дом. Дом, который защищает. Дом, который слушает. А когда дом не слушает, уезжают.

Шайн сел, медленно, потёр лицо рукой.

— Значит... Масада-2 началась не на границе?

Коган покачал головой.

— Она началась в аэропорту. На стойках регистрации. Когда семьи с чемоданами сказали: «Мы не верим, что вы справитесь». Когда самолёты, летящие из Израиля, стали полнее тех, что летят в Израиль. Вот тогда всё и началось.

Шайн тяжело выдохнул.

И впервые за весь разговор он произнёс то, чего избегал месяцами:

— Я... сломал баланс. И теперь страна расплывается.

Коган сел рядом, впервые близко.

— Давид. Признание — это не конец. Это шанс. Но если мы не повернём обратно сейчас — следующими уедут не семьи. Уедет сама идея Израиля.

И останется только крепость.

Одинокая.

Голодная.

Обложенная.

С красной кнопкой под рукой.

И тишина, от которой уже некуда будет бежать.

Призраки улиц

Поздно ночью, когда даже страх замирает от усталости, премьер покинул бункер, один без охраны, что было своего рода безумием в то время. Он прошёл по узкому защищённому тоннелю, пробитому ещё в шестидесятых, как линия жизни между властью и улицей.

Старый Иерусалим — не просто город, а сама история. Он хотел увидеть не цифры, не графики, не карты. Он хотел увидеть лица.

Он шёл один, в простом тёмном плаще, отказавшись от охраны, хотя она всё же не послушала его: трое шли в несколько десятков метров за ним. Он проходил мимо пустых улиц, мимо закрытых дверей, за которыми гасли молитвы.

В одном из подвалов горел слабый свет. Он спустился.

Там — старики. Они сидели в тишине, согнувшись над радиоприёмником, словно это был последний источник тепла. Они ловили не новости, а голоса, которые не говорили уже ничего нового, но всё ещё звучали, и значит — жизнь была.

В другом углу — женщины, лежащие вповалку, обняв детей, словно руками хотели закрыть их от самой реальности. Сны, у кого были, были глубокими, как обморок. Кто-то шептал во сне какие-то слова.

Он продолжил идти.

В арке разрушенного подворья мелькнули тени подростков. У них в руках — бутылки с горючей смесью.

Он не остановил их, просто посмотрел и пошёл дальше.

В переулке возле бывшей лавки специи его окликнули.

— Вы нас оставили.

Мужчина вышел из тьмы. Лет сорока. Обветренное лицо. Глаза — как у тех, кто слишком долго смотрит на огонь.

— Вы думали, что народ выдержит. Что вы выдержите. А потом народ вернётся. Покается и простит. А мы просто вымерли внутри.

Он не проклинал, не требовал. Он просто говорил, как свидетель, как тень, которая не исчезла.

Премьер посмотрел на него и не стал отвечать.

Он развернулся и пошёл обратно через пустые улицы, мимо разбитых окон, по которым ветер играл, как по стеклам саркофага.

Иерусалим спал.

И премьер знал — в этом городе уже не живут. В нём — выживают.

Непроизнесённая речь

Он вернулся в бункер. Там, в глубине воздух был тяжёлым — не от пыли, а от слов, не сказанных вовремя. Он снял куртку, подошёл к своему письменному столу и открыл ящик, о существовании которого почти забыл.

Там, среди ручек, старых бумажников, забытых очков, лежали речи, написанные в разные годы. Некоторые — написанные сердцем, другие — по обязанности.

И одна — никогда не произнесённая.

Жёлтая бумага, немного мятая. Чернила выцвели, но слова были живы, словно только что написаны.

Он медленно развернул её и прочёл. И будто услышал самого себя, прежнего — не уставшего, не разрушенного.

«Мы сильнее, когда мы едины. Израиль — это не парламент. Это не армия. Это даже не границы. Израиль — это выбор. Каждый день. Между памятью и гневом. Между страхом и надеждой. Я забыл об этом. И потому я прошу у вас прощения. Прощения за то, что не верил в ваш выбор. Прощения за то, что хотел управлять, а не служить. Прощения за то, что я стал слаб тогда, когда вы были сильны...».

Он закрыл глаза. Бумага дрожала в пальцах.

Он сидел в темноте, прислушиваясь к тишине, где каждый её шорох был похож на дыхание прошлого.

«Они знают всё...»

Лави Коган утром прибыл к премьер-министру и сразу, войдя в кабинет, положил на стол папку. Плотную, тяжёлую, с красной полосой на корешке.

— Они знают всё, — сказал он.

— Кто? — спросил премьер, хотя знал ответ.

— Все, кто по ту сторону стен. Иран. «Хезболла». Катар. Китай.

Коган, присев, продолжал:

— Они знают, насколько мы слабы. Где уязвимы. И всё же... мы держимся.

— Да, пока у нас есть выбор, — заметил Шайн.

— Пока мы — не просто крепость. Пока мы живые.

Премьер не ответил. Встал. Подошёл к старому столу, где лежали карты. Бумажные, старые, те, что ещё пахли пылью времени.

Он открыл одну.

Масада. Крепость. Скала. Осада. Кровь.

Он взял ручку. Обвёл круг.

И медленно подписал:

Иерусалим — год 20...

Масада — 2.